



А. Н. ВЕСЕЛОВСКИЙ

Боккаччо и Данте

I

Несколько флорентийских граждан, желая для своей собственной пользы и на пользу других, стремящихся к добродетели, равно как и своих детей и потомков, научиться в книге Данте (ибо и людей неученых) она может наставить, как избегать пороков и преуспеть в добродетелях, и изощрить в красноречии), обращаются к приорам цехов и гонфалоньеру флорентийского народа и общины с почтительной просьбой: позаботиться и постановить, чтобы избран был достойный и ученый муж, основательно знакомый с наукой поэзии, который в течении известного времени, не более года, прочел бы во Флоренции для всех желающих ряд лекций по непраздничным дням о книге, обычно называемой «Данте» — за вознаграждение, какое вы положите, впрочем не свыше ста золотых флоринов в год, и при условиях, какие вы найдете нужными. Казначей означенной общины ... выдадут избранному следуемый гонорар из городской казны в два срока или две части, первую в конце декабря, вторую в конце апреля, без всяких вычетов.

Просьбу эту обсуждали означенные господа приоры и гонфалоньер вкупе с комиссиями цеховых гонфалоньеров и двенадцати «сведущих людей» флорентинской коммуны, и собравшись в достаточном числе в ее палате (думе), тайной подачей голосов 9 августа 1373-го года от воплощения Господа нашего, индикта XI, решили: принять означенную просьбу и все, в ней показанное, исполнить в точности.

Таков документ, которым учреждалась первая в Италии кафедра для толкования «Божественной Комедии». Из числа подававших голоса 186 человек положили черные шары, то есть, говорили за;

протестующих было всего 18. Чтецом был приглашен 25 августа — Боккаччо, едва оправившийся от болезни; место чтений — небольшая церковь св. Стефена. Боккаччо вступил в должность 18 октября; 31 декабря 1373-го года ему выплачена первая доля его гонорара, пятьдесят флоринов; в январе 1374-го года внезапно прервались его чтения: он прочел всего 59-ть лекций, 60-ая прекращается на полуслове, на объяснении Inf. XVII, v. 17: *non fer mai drappi Tartari nè Turchi*. Он начал толковать: Татары... — и на этом остановился. В письме к зятю Петрарки, Франческо да Броссано, от 3 ноября 1374-го года, он говорит, что прошел уже десятый месяц с тех пор, как его, читавшего тогда о Божественной комедии, посетила болезнь, затяжная и докучливая, хотя и не опасная.

Выбор Боккаччо на должность истолкователя Божественной Комедии не удивителен: он давно был ее глашатаем, его «книжка» о Данте известна. Вместе с тем и избрание и самая затея кафедры вызывают ряд вопросов, тесно связанных с флорентийскими отношениями Боккаччо и судьбами флорентийского гуманизма в 60–70-х годах XIV-го столетия. Божественная Комедия уже успела найти толкователей непосредственно по смерти Данте: с 1321-го по 1341-й год являются попытки комментариев, начиная с Якопо Алигьери и *ser Graziolo* до Якопо делла Лана и второго сына Данте, Пьетро. Трудность текста, загадочность его аллегоризма, богатство иносказаний — все это требовало объяснения; но от частных комментариев, удовлетворявших любознательности относительно немногих, до публичных чтений на пользу всех желающих — большой шаг. Он предполагает в интеллигентных сферах, на него решившихся, известное настроение в смысле дантофильства, которое является вместе с тем показателем умственных течений.

Мы знаем, что дантовская партия существует, обособленная односторонним движением гуманизма, что Данте начинают противопоставлять Петрарке. Гуманизм в своей латинской одежде и с своими античными вкусами, сторонится от толпы, Данте спустился на площадь и в таверны, и его этическое содержание, истолкованное умным человеком, доступно и для нелатинников. Так разделились в литературе аристократическое и демократическое течения, с различной общественной и религиозной окраской. Гуманисты слишком серьезно увлекались содержанием язычества, чтобы не возбудить сомнений; Боккаччо пришлось отбиваться от них, и легко предположить, что он нашел себе противников во Флоренции; флорентийцы были и те зоилы, которые злостно разобрали отрывок Африки, нападая на Петрарку его же оружием. Много говорит за то, что для

чистокровного гуманиста Флоренция не представляла тогда удобной почвы. Ее поэты, современники последней боккаччевской поры, соединяют культ Данте, Петрарки и Боккаччо с средневековой учительностью, как у Торини, петраркизуют, как Чино Ринуччини, или развивают в свой собственный стиль, стиль здорового буржуазного реализма, на котором лежит печать новеллы и патриотической завязности; таковы Пуччи, Саккетти, Орканья. Они, в сущности, показатели своеобразного, местного литературного развития, отвечавшего внутреннему росту флорентийской коммуны; они слишком местны, провинциальны и на столько далеки от отвлеченных задач гуманизма. В такой среде ему собственно негде развиваться; молодые гуманисты выезжают, живут или жили вне Флоренции: Заноби, Нелли, Франческо Бруни, Салутати; говоря (после 1361-го года) о Петрарке и Заноби, Маттео Виллани выражается об их творениях, что их приятно послушать, но что с точки зрения *богословской* мудрые люди не ставят их ни во что. Это освещает положение. К университету, куда когда-то желали привлечь Петрарку, горожане относились неряшливо, как денежной обузе, так что правительство должно было напомнить им (в 1357 году), что он честь и украшения города. На классической кафедре чередуются случайные или неизвестные имена: в 1360-м году читает реторику Франческо Бруни, вскоре удалившийся на службу при папской курии; в 1366–7-м — флорентийский нотариус ser Michele de Lora; в 1368-м — магистр Джьованни Конверсино из Равенны, в 1368–9-м — флорентийский гражданин, профессор риторического искусства, Варфоломей, сын Якова. Как раз в эти годы Боккаччо, за исключением некоторых деловых поездок, находился во Флоренции; не звали его на гуманистическую кафедру, или он сам устранился от нее, или считал себя изолированным? Его покровители — неаполитанцы, дома о нем вспомнили не как о гуманисте, а когда затеяли публичные толкования — Божественной комедии.

Он взялся за дело рьяно. У него была любовь к предмету, под руками материалы дантовской биографии, умение возвращаться в аллегорических тонкостях, громадный запас сведений, необходимых для комментариев, был наготове в Генеалогиях богов, в книгах о великих женщинах и мужах, в Географическом словаре. Все это переселилось в его чтения; часто он начинает рассказ и обрывает его пометкой: и так далее; он мог досказать его по готовым текстам. Его чтения, в сущности, концепт, разработанный неравномерно, но по строго продуманному плану: он наперед распределил материал толкований; встречаясь с известным сюжетом, их вызывавшим, он

замечает напр., что поговорит о нем подробно в другом месте, по поводу такой-то песни. Такие ссылки вперед встречаются и у других комментаторов; у Боккаччо нередко и на такие части Божественной Комедии, которые ему не удалось более истолковать.

Вступительная лекция начинается молением о Божьей помощи и комплиментом флорентинцам: это было своего рода *captatio benevolentiae*, которую заглушают впоследствии громы откровенных обличений. Боккаччо сознает трудность затеи: он непонятлив и скудоумен, память у него слабая, он знает, что берет на себя непосильный труд: объяснить хитроумный текст, множество рассказов и высокий смысл, скрытый под поэтическим покровом Комедии нашего Данте — и притом истолковать людям столь глубокого понимания и удивительного остроумия, какими обладаете вы, господа флорентийцы. Боккаччо не надеется на свои силы и потому взывает словами Вергилия:

*Iupiter omnipotens, precibus si flecteris ullis,
Aspice nos; hoc tantaum; et si pietate meremur,
Da deinde auxilium, pater.*¹

Прежде, чем обратиться к разбору поэмы, Боккаччо хочет выяснить несколько общих вопросов, ее касающихся, каковы: 1) предмет поэмы, 2) ее заглавие, 3) ее философия. То, что мы обозначили словом «предметы», лишь отчасти отвечает выражению *cause*, которые с своей стороны подразделяются по категориям сюжета, формы, автора и цели. Сюжет двоякий, ибо соединяет дословное значение с иносказательным. С точки зрения первого поэма изображает посмертную участь душ, с точки зрения аллегории она представляет, каким образом человек, в силу своей свободной воли возвышаясь или падая, повинен возмездия награды или наказания. — Вопрос о форме касается внешнего деления поэмы на три кантики, песни, терцины — и поэтического стиля; автор — Данте, конечная цель поэмы: побудить людей выйти из бедственного состояния к состоянию блаженства.

Переходя ко второй из поставленных им рубрик, заглавию поэмы, Боккаччо разбирает понятие *cantica* с точки зрения ее музыкального понимания и устраняет сомнения тех, которым название комедии казалось не подходящим. Они говорили, что содержанием комедии, по смыслу самого слова, являются низменные лица и отношения, чему поэма не отвечает; что и стиль комедии такой же низменный, чего тоже нет, потому что хотя Данте писал и на народном языке, на котором говорят бабенки, но писал высоким сти-

лем. Я не отрицаю, прибавляет от себя Боккаччо, что если бы тоже содержание выражено было в латинских стихах, оно явилось бы более художественным и возвышенным, ибо и латинская речь художественнее современной народной. — Интересно, как поставлен в последнем труде Боккаччо вопрос об отношениях обоих языков, столь существенный в литературной истории гуманизма. В известном послании к Петрарке Боккаччо говорил, что если Данте предпочел народные метры, то не по незнанию латинской речи; в биографии Данте избрание им итальянского языка объясняется тем, что гуманистический интерес и знание латыни находились в упадке у людей власть имущих, меценатов — и этот аргумент повторяется и в комментарии; в той же биографии итальянский язык назван, по сравнению с латинским, некрасивым, неизящным — как и в комментарии читаем, что блестящие достоинства Данте тускнели во мраке народной речи, а знаменитые *versi strani*² толкуются, как итальянские, ибо до Данте никому не приходило в голову писать о подобных материях иначе, как по латыни. Вспомним еще выражение Генеалогий Богов: о Божественной Комедии, написанной художественно, — хотя и на народном языке. — Данте прославляется постоянно, как великий художник итальянского слова, но это не умаляет преимуществ латинского, а только возвышает славу того, кто с меньшими средствами достиг великого. Для народной речи просят лишь одного: снисхождения; Беатриче обращается к мантуанцу Виргилию на своем языке, то есть, на флорентийском, поучая нас таким образом, что без особой необходимости не следует оставлять родного языка для какого-нибудь другого.

Были и другие замечания на счет неуместного обозначения дантовской поэмы комедией: в поэме не проведен принцип диалога, много вводных рассказов, содержание действия не вымышленное, ибо кара грешников в награда праведных отвечают учению церкви; нет деления на сцены. Боккаччо защищает название тем, что как комедия, бурная и шумливая в начале, кончается миром и покоем, так и поэма Данте начинается с печали и страданий, чтобы умиротвориться с праведниками в вечной славе.

К вопросу о заглавии примыкает характеристика Данте. Это краткий очерк, с ссылкой на «биографию», без новых данных; только Брунетто Латини назван учителем Данте, о чем биография умалчивает; как и в ней, имя поэта оказывается данным свыше: не даром называют его по имени; Беатриче = теология и первозданный Адам. — Эти сведения пополняются эпизодически в течении комментария: так Боккаччо говорит со слов мессера Джьярдино

из Равенны, что Данте умер на 57-м году жизни; сообщает сведения о Беатриче Портинари, повторяет знакомый нам рассказ о том, как найдены были первые семь песен Ада. На этот раз он называет свои источники: у Данте был племянник, сын его сестры, Андрей Поджи, человек необразованный, но разумный и порядочный, и лицом и всей фигурой напоминавший дядю, даже горбившийся, как, говорят, горбился он. Этот то Поджи и рассказывал Боккаччо, что в находке действующим лицом был он; с другой стороны старый приятель Данте, Дино Перини, утверждал, что утраченные песни найдены были им самим. Кому из них поверить, не знаю, говорит Боккаччо, но выражает и веские сомнения в достоверности и вероятности самой легенды; в биографии он еще принимал ее на веру.

Остался еще третий общий вопрос, поставленный в начале введения: к какого рода философии относится Божественная Комедия. Боккаччо отвечает, что к этической.

Все это введение не что иное, как разработка и переделка положений приписываемая Данте послания к *San Grande della Scala* с посвящением Рая. Иные выражения переведены дословно, тот же схематизм, лишь несколько измененный. В послании общих вопросов поставлено шесть: 1) сюжет, 2) автор (*agens*), 3) форма, 4) цель, 5) заглавие, 6) род философии. У Боккаччо первые четыре рубрики сведены в одну под заглавием *cause*, может быть, под влиянием какого-нибудь средневекового комментария. Так Тревет разбирал Сенекова *Hercules furens* по категориям *causa efficiens* (автор), *materialis* (сюжет), *formalis* (форма драмы) и *finalis* (увеселение народа или цели нравственного исправления)³. — Дальнейший анализ частностей повторяет послание: та же двойственность сюжета и тоже, буквально, определение иносказательного содержания поэмы; тот же разбор формы, та же защита названия «комедии», та же цель в род философии.

Оказывается, Боккаччо парафразировал послание Данте не называя его, как парафразировал его в введении к своему комментарию Якопо делла Лана (между 1323-м и 1323-м гг.), сократив шесть делений в четыре и также не назвав автора; в комментарии Пьетро Алигьери (1340–41 г.) тот же материал послания к *San Grande della Scala* распределяется уже совсем по боккаччевским рубрикам: *cause*, заглавие, философия. — Вопрос о подлинности Дантовского письма, еще недавно вызывавшая сомнения, нас здесь не касается; вероятно одно, что если ни Якопо делла Лана, ни Боккаччо не упомянули его, то потому, что они пользовались им в особом виде, без имени и посвящения, которое позволило бы угадать автора. Как бы

то ни было, именно послание дало те общие точки зрения, которые легли в основу последующих толкований Божественной Комедии, как безыменных глосс к ее тексту, так и комментариев, обнимавших ее целиком или частями. На такие толкования ссылается и Боккаччо, ни разу не обозначая их точнее: у него, как нередко и у других комментаторов, это просто «другие», которым он часто не верит, предпочитая свое понимание, но отмечая и несочувственные. Незнакомство с прямыми источниками его дантовской экзегезы не всегда позволяет судить об оригинальности его собственной. Уже сыновья Данте, Якопо и Пьетро, в своих комментариях, первый и в своем *Dottrinale*, установили ту точку зрения, что под аллегорией загробных мук и наград Данте имел ввиду изобразить тройкое состояние людей в этой жизни: грешников, погрязших в адском мраке пороков и неведения, покаявшихся и добродетельных; их участь и возмездие — естественное следствие их жизненного делания; их судья, Минос, — их собственная совесть. — Мы встретим этот взгляд и у Боккаччо, в соединении с другим, оставляющим за дантовской трилогией ее христианско-легендарное значение, видящим в Данте личного грешника, которого примеры божественного правосудия приводят к сознанию и направляют к добродетели. Таково понимание в комментариях *Ser Graziolo*⁴ и в анонимном толковании, изданном Сельми. — К этим принципиальным совпадениям присоединяются и мелкие: Боккаччо усматривает напр. сознательный параллелизм в том, что в каждом круге Ада Данте поместил особого демона, назначенного застрашать пришельцев; но подобное замечание сделано было уже Якопо ди Данте. Приступая к разбору каждой песни Боккаччо наперед распределяет ее содержание на несколько отделов, о которых и говорит последовательно; это тот же прием, что у Якопо делла Лана и Пьетро Алигьери. Аллегория *Veltro*, будущего освободителя Италии, оставляет Боккаччо в недоумении, он не делает окончательного выбора из разных мнений и решительно отрицает отождествление *Veltro* с И. Христом, приводя, как наиболее правдоподобное, мнение тех, которые представляли себе *Veltro* безвестным, безродным бедняком, имеющим изгнать из мира любостяжание.

Обращаясь к толкованию первой части Божественной Комедии, Боккаччо еще раз оговаривается: он слаб умом и памятью, и если ему случится сказать что-либо несогласное с учением церкви, он наперед отдает себя под ее суд. Божественная Комедия ставила богословские вопросы; первым является вопрос об — аде; Боккаччо развивает здесь положения, выраженные им в Генеалогиях богов, на этот раз

с ссылкой на Священное писание, различающее три ада: верхний, средний, или лимб, и низший, или ад в обычном употреблении слова. Для его аллегорической системы важнее понимание верхнего ада: это — жизнь, полная страданий и греховности; ад — в сердце человека, с Цербером — ненасытными желаниями, судьями — судом совести и т. д. Следуют вопросы: о положении нижнего ада, о чем существуют разные мнения; о его названиях. Первая песнь дантовского Ада выделяется, как вводная к остальным, и начинается толкование. Методичность и знакомая нам обстоятельность Боккаччо сказались в точном обособлении дословного толкования от аллегорического; это было нововведение: дословное толкование всегда имеет ввиду следующее за ним аллегорическое, ссылается на него вперед; что распределение материала является при этом несколько искусственным, понятно само собой. Только при 10-й и 11-й песни нет объяснения иносказаний, ибо они не представляли ничего нового; в 8-й этот отдел ограничивается несколькими строками; так и в 16-й, с ссылкой на будущее толкование; 15-я песнь отсылает слушателя к аллегориям 17-й, комментарий которой остановился, как мы видели, на полуфразе.

Займемся сначала отделом дословного толкования. Оно двойное, стилистическо-грамматическое и реальное. Первое не дает понятия об образовательном цензе слушателей, собравшихся вокруг Боккаччо в стенах Сан-Стефано: в нем есть пища для всех. Иные стихи Данте разбираются синтаксически, то есть восстанавливается прозаический порядок речи, комментарий становится почти школьным, несколько раз возвращаясь к частям одного и того же предложения, повторяя и резюмируя; с другой стороны даются указания на различия в тексте Данте, приводятся этимологии, объясняется поэтическое словоупотребление, значение слов, синонимы; флорентинизмы, ломбардизмы, романьолизмы; в слове *organza* (вместо *onorganza*) отмечена синкопа, в других случаях сравнения, тропы и фигуры, заимствована из Вергилия, иной раз к выгоде Данте.

Грамматическое толкование приготавливало комментарий по содержанию. Источниками Боккаччо могли быть здесь те «другие», с мнениями которых он считается, не называя их; для реальной части комментария его собственные ученые труды, с теми же ссылками на Пронапида, Теодонция, Леонтия Пилата, на классиков; с набегами в область французских романов, баснословных рассказов об Александре Великом и городских легенд Фьезоле и Флоренции, с неравномерными порывами критики, колеблющейся между сомнением и доверчивостью (напр. в легенде о Дидоне), возбраняющей себе

вопросы в делах веры: не слыхал я и не читал, чтобы Христос сошел в лимб с знамением победы, замечает Боккаччо к дантовскому стиху. Принадлежность одной пьесы Сенеки возбуждает в нем доверие по существу и сомнение по отношению к стилю. Павлова Видения он, кажется, не знал⁵, Теофрастово *De Nuptiis*, текстом которого он пользовался в биографии Данте, переведено теперь целиком⁶.

Такое массовое чтение объясняет подробность историко-реального комментария, особенно в его классическом отделе: пересказываются мифы с их толкованием, сообщаются сведения об играх у древних, биографии деятелей мифа и истории, героев, поэтов и философов: Виргилия и Камиллы, Платона и «грешного» Овидия; Минос увлекает к воспоминанию о Дедале в Байях, имя Париса — к легенде о нем.

От воспоминаний древности текст Данте переносил Боккаччо к средним векам, итальянским и чужим; явились статьи о лонгобардах о Фридрихе II и Пьеро делле Винье, об Эццелине и Франческе из Римини, в падение которой Боккаччо отказывается верить: оно было возможно, но Данте не мог знать о нем, это — вымысел, основанный на вероятности. Ряд исторических и биографических сведений об итальянских и флорентийских деятелях, о политических отношениях Флоренции приводит нас к другим источникам, хроникам (Виллани), прежним комментаторам, рассказам стариков и сведущих людей. Многие принадлежат сообщениям Коппо ди Боргезе Доменики; известно, как чтит Боккаччо этого живого свидетеля доброй старины: с его слов записан анекдот о Гвальдраде, рассказана новелла Декамерона о Федерико Альбериги, от него идут сведения о Филиппе Ардженти, действующем лице другой новеллы, герой которой, Чакко, также встречается в комментариях в связи с характеристикой партий, на которые распались флорентийские гвельфы: Белые (*Bianchi*) с родом Черки во главе, и Черные (*Neri*), руководимые семьей Донати. Мы знаем, как поверхностно было у Боккаччо понимание старых флорентийских отношений, и знаем тому причины. Вскоре после 1302-го года, особенно после итальянского похода Генриха VII, *Bianchi* и *Neri* исчезают, как название гвельфских партий; первые сливаются с гибеллинами, вторые означают гвельфов вообще; между тем, комментируя (*Inf.* VI, 70) пророчества Чакко, что Черные еще долго будут воздымать чело, то есть верховодить, Боккаччо замечает в 1373-м году, что это время еще не прошло. Говоря о Черных, он, очевидно, понимает просто гвельфов, как анонимный комментатор Ада (м. 1321 и 1337 годом) — не флорентинец. В *Vita* отсутствуют самые названия *Bianchi* и *Neri*,

а о гвельфах и гибеллинах сказано, что откуда пошли эти клички — неизвестно; с тех пор достопочтенный муж Луиджи Джьянфильяцци рассказал Боккаччо, что слышал об их происхождении от Карла IV: анекдот о графине Матильде и двух совопросниках, Гвельфе и Гибеллине, который и пересказывается без сомнений, без сознания принципиальной обусловленности гибеллинских и гвельфских партий широкими идеями папства и империи.

Энциклопедическое содержание Божественной Комедии шло на встречу энциклопедизму самого Боккаччо. Автор *De Montibus* сказывается в статьях географического характера; о замке, который затевали построить у водопада Аквакеты, он сам слышал от аббата соседнего монастыря. Разъясняются вопросы естественно-исторические, физиологические, метеорологические, не без примеси баснословия и наивного суеверия, когда напр. об осах говорится, что они зарождаются из гнилых внутренностей осла, хотя напр. в Генеалогиях зарождение палочной травы из человеческой крови вызывает сомнение; или что люди, косоглазые от рождения, по мнению физиологистов, бывают хитры и коварны, а у умирающих является дар прозорливости. — В иных случаях Боккаччо помогли его старые юридические занятия: отвечая на сомнения людей, соблазнявшихся тем, что в Дантовском лимбе подвергаются одинаковой каре дети, умершие до крещения, и языческие мудрецы и поэты, которым следовало бы положить более тяжкое наказание, Боккаччо подробно различает понятия: неведения закона и неведения факта; последнее служит к извинению и облегчению участи тех язычников, которые жили до Христа и не имели возможности познать истинного Бога, те же, которые жили в пору «закона», не могут защищаться его незнанием. Боккаччо строже Данте: он исключил бы из его лимба не только Авиценну, Галена и Аверроэса, но и Овидия, Лукана и других; таково его мнение, которое он готов подчинить решению церкви и мнениям более мудрых людей. Подобной, несколько искусственной юридической формулой, различием *pena illativa* и *pena privativa*⁷, он пытается спасти Данте от обвинения в разногласии с церковью, учащей, что по воскресении все души соединятся с своими телами (дело идет об *Inf. XIII, 91* след., возбуждавшем сомнения уже древних комментаторов), тогда как тела дантовских самоубийц окажутся повешенными на тех самых деревьях, в которых они заключены в аду.

Знакомое нам пристрастие Боккаччо к астрологии и хронологическим выкладкам вызвало два астрономических экскурса: вычисление, сколько времени провел Данте в своем воображаемом

хождении; тоже пристрастие побудило комментатора еще раз высказаться по вопросам, издавна его занимавшим: о влиянии светил на человека, о значении астрологии, о судьбе. Вечным вращением и различными сочетаниями светил, этих орудий божественного всемогущества, производящих существа низшего порядка, объясняется в людях различие их по внешности, темпераменту, призванию; всякий рождается на что-нибудь, и хотя Господь одарил наши души разумом и свободной волей, *кажется* (pare), что люди следуют не выбору, а тому, на что каждый рожден. Вопрос о Фортуне, поставленный Данте, приводит Боккаччо к тем же точкам зрения: Фортуну встарь считали богиней, поэты изображали ее женщиной, с повязанными глазами, вращающей колесо; но под ней разумеется не что иное, как различные вращения небес, движимых божественным разумом к известной цели — оттого неуместна повязка на глазах Фортуны. Движением небес объясняются непонятные нам перемены в судьбе людей и царств; у Боккаччо на памяти примеры из De Casibus; так в наши дни величие французов перешло на англичан, о когда-то именитых в нашем городе семьях Черки, Донати, Тозинги, едва теперь поминают, их слава перешла на других, о которых тогда не знали. Врожденность увлекает нас, но если бы мы захотели быть благоразумными и последовать внушениям свободной воли ибо наши души созданы Богом и вне влияния Фортуны, мы воспротивились бы ей, попрали бы ее, неисповедимую — ибо человеческому пониманию не обнять тайны неба, что доказывают постоянные, чаще всего напрасные старания астрологов, хотя сама по себе астрология, как наука, имеет основание. Если в другом месте верование, что какое-нибудь созвездие может роковым образом влиять на людские умы, осуждается, как неразумие и даже ересь, если о Данте говорится, что его дарования не от звезд, хотя Господь и одарил их многими силами, а от милости Божией — то это ставит нас в кажущееся только противоречие с взглядами Дантовской биографии, с заявлениями Генеалогий, с общей постановкой этого вопроса в комментариях. Эта постановка ясна: старческий résumé жизненных взглядов, колебаний, отстоявшихся в видимом покое. De Casibus еще отражает период колебаний, борьбы личности в противоречиях судьбы и призвания. Там Фортуна — Бог, но языческого типа; она непререкаема, ее побеждает доблесть, но побежденная; ее можно избежать, ограничив желания; в эту двойственность неотразимо вторгались моменты призвания, сознания силы, прирожденного таланта, который не знает границ и невольно идет на встречу судьбе. В комментариях эти противоречия помирены: талант, призвание

от звезд, от вращения небес, но то и другое в руках Бога; понятия прирожденности, Фортуны сливается с представлением Божества, вместе с тем доблесть, ограничение желаний уходит в понятие свободной воли. Если бы мы были разумны, мы чаще бы подчинялись ей, но, кажется, народы чаще следуют не ее разумным указаниям, а своим наклонностям.

Боккаччо не написал бы теперь своего панегирика Алкивиаду; его воззрения смиренно подошли к церковной норме; как в соответствующих частях Генеалогий, его христианство боязливое, несколько суровое: мы видели, что он исключает критику в делах веры, предоставляя свои суждения на суд богословов; если говорит о Юпитере, как о боге-отце, то старательно отмечает и другое его, языческое значение; он не верит, чтобы душу можно было вызвать из ада: вместо нее являлся демон; демоны наполняют воздух, вздымают бури, соблазняют людей; иные, менее разумные, объясняют их влиянием явления парализии. — Я сказал о суровом христианстве Боккаччо: некрещеных детей в лимбе он одаряет сознанием, но оно им не в утешение, а на муку; грешники лишены всякого утешения: если Франческо говорит, что Паоло и теперь ее не покидает, то Данте следовал здесь Виргилию, не учению христианства. Однажды, казалось бы, Боккаччо готов подойти случайно, хотя «предмет того и не требовал», к вопросу о существовании в природе вредного, бесполезного, напр. пустынь; но он не обобщает его, а решает благодушно, в связи с фактом: пустыня освободилась из под моря, которое служило целям плаванья. Зло явилось в мире с историей: она начинается с золотого века и кончается разложением; если в Амето, в Фьямметте это — общее место, в комментариях оно выражает старческое настроение. Все идет на склон, и нравы, и самые костюмы; простые в старину, они стали теперь бесстыжими; в старину красавец Спуринна искажил свое лицо, ибо оно возбуждало соблазн и вожделение, современные молодые люди идут на встречу тому и другому. То, что говорится о них, напоминает указ короля Роберта и туалетные подробности Корбаччо и De Casibus. Модное кротополие, платье в обтяжку возбуждают негодование, тем более, что эти люди защищают себя примером англичан и немцев, французов и провансальцев. Что за срам! восклицает Боккаччо в порыве национального самосознания: в былое время, когда мы еще не страдали изнеженностью, мы давали всему свету и законы и моды и нравы; в этом было наше благородство, наше преимущество и сила; теперь, заимствуя у варваров, у наших бывших рабов и данников, то, что они у нас переняли, мы тем самым заявляем, что мы рабы, они вы-

ше нас и благороднее и образованнее. Неужели эти люди не поймут, как унижительно для итальянца следовать обычаям таких народов! Римским обычаем нельзя защититься: я не могу доказать письменными памятниками, что римляне не носили короткого платья, но тому доказательством статуи — а я их много видел. — Но у Боккаччо есть и другой аргумент против новой моды: это ее соблазн, вожделение, которое она, своею откровенностью, может возбуждать в женщинах. Ибо в женщинах вожделение и без того не знает границ, они красятся, рядятся, поют, играют глазами с единственной целью увлечь мужчин; те идут им на встречу и впадают в сладострастие; это — смерть юношам, утеха женщин, мать лжи, враг чести, нарушение верности, опора пороков, вместилище скверны, соблазнительное зло, позор стариков; именно для ограждения от ее излишеств Господь и установил брак, ограничений мужа одной женою; все иные связи подлежат осуждению — и Боккаччо переходит к перечислению видов преступной страстности, доходя до содомии. Правда, любовная страсть карается слабее других пороков, как бы менее оскорбляет Господа, ибо она врождена нам небесами, и мы находили бы в том извинение, если б у нас не было свободной воли, возможности уберечь себя от соблазнов и возбуждений — ибо «без Цереры и Вакха хладеет любовь»⁸.

Все это сказано по поводу грешников, караемых за любострастие во втором адском круге, и сводится к объяснению поэтического эпизода о Франческо и Паоло! Боккаччо внимательно следит за соответствием проступка и наказания: вихрь, в котором несутся любовники — холодный вихрь, как противоположность горячности вожделения.

Старый, реально-физиологический взгляд Боккаччо на любовь не удивит нас в том его произведении, на котором ярче должна была лечь печать лет и боязливых старческих счетов с совестью. Его ригоризм обострился, общие места поучения, нажитые взгляды еще раз являются на переключку: те же укоры женщинам, которые красятся и притираются, тогда как красота — дар небес, почти всегда соединяющийся с другими преимуществами, невольно вызывающий почет, не передаваемый никакой кистью; та же похвала целомудрым матронам — и злая инвектива против брака по следам Теофраста; осуждение плотской страсти, знакомое определение любви с классификацией ее по Аристотелю и почтительным замечанием к известному дантовскому стиху: о любви, вызывающей любовь — что это может относиться только к добродетельному чувству. То, что говорится о молве — fama, поэзии и поэтах, о тиранах, об идеале короля

и служителя правосудия — повторяет знакомые тирады De Casibus и Генеалогий. Пороки, караемые в дантовском Аду, явились темой обстоятельных рассуждений о гордыни, зависти и любостяжании; чревоугодие дает повод к характеристике застольных излишеств, в которых повинны итальянцы, особенно тосканцы: описывается их бесконечное столование, с певцами и скоморохами и беседами обо всем, начиная от пятен на луне до вопроса о достоинстве тех или других вин. Не делается ни одного общественного или частного дела, чтобы не поесть и не попить; роскошь дошла до того, что иные стали золотить мясо; и подобное делают не только небольшие, правители, но и мелкий люд; за такими то трапезами вершаются серьезные дела, вино и обильные яства помогают обвинению или оправданию, они — адвокаты, заступники; Бог знает, к чему все это ведет!

Общие рассуждения о том или другом этическом вопросе оживают и действуют сильнее, когда за ними чувствуется наблюдение над действительностью, преимущественно флорентийской, либо отзвуки лично пережитого. Говоря о любостяжании и расточительности, Боккаччо метит на клириков, как в другом случае недоумевает о смирении современных пап, но когда он нападает на людей, расточительных к льстецам, скоморохам, заблудшим женщинам, и неумеющих почтить достойного человека, невольно вспоминается его прием у Аччъяйоли; это, может быть, такое же личное воспоминание, как и указание на зависть, царящую при дворах. Нравы флорентинцев давали материал для нареканий: их обвинили в чревоугодии, вопрос о гневе и нравственной косности вызывает рассуждение о вендетте, которой пятнают себя тосканцы, особенно флорентинцы; с них писан портрет вечно тревожного, озабоченного случайностями купца. Данте зовет флорентинцев неблагодарными, слепыми; в прошлом они действительно были неблагодарны к людям, которые делали им добро, а о прозвище слепых идет такой рассказ: когда пизанцы отправились в поход на Майорку, упросили флорентинцев быть на страже их города, а в награду обещали поделиться с ними добычей. Они привезли с собой резные деревянные врата и две колонны из красного порфира, которые обшили сукном; выбор был предоставлен флорентинцам, они выбрали колонны, которые оказались сломанными. Оттуда, будто бы, прозвище слепых; Боккаччо не верит в это объяснение, а другого не находит; он забыл свое собственное, в Географическом словаре. — И далее Боккаччо следует за Данте, называющего флорентинцев стяжательными, завистливыми, надменными; развивая эти нарекания, автор включает в них и себя: это риторический прием, притуплявший жало: всем

нам прирождена стяжательность, мы завистливы паче других, и т. д.. Но эта отрицательная оценка взвешивается положительной; идеальный поклонник старого Рима, Боккаччо позволяет себе противоречить Данте заявлением, что уже со времен императоров Рим был наполнен всяким народным отребьем, но сам он проникнут тосканским самосознанием: мы должны благодарить Бога, что принадлежим к этой, а не к другой нации, если только слава страны общается и ее жителям; а Флоренция выше всех тосканских городов, как голова благороднее других членов тела. Это — самосознание ли Данте, или новый комплимент флорентинцам?

За толкованием Божественной Комедии по содержанию оставался не меньший труд: объяснение ее иносказательного смысла. Общий путь указан Данте, комментаторам оставалось развить подробности. Здесь Боккаччо неистощим, как всегда методичен, нередко доходя до наивности в своей акрибии. Он пристально присматривается к всякой мелочи любимого текста, ставит вопросы, недоумекает и старается выйти из недоумения, помирить кажущиеся противоречия: почему напр. Лукреция попала в число добродетельных язычников лимба, когда она убила себя, а самоубийцам уготовано в аду другое место? почему в аду Сенека, тогда как, по убеждению Боккаччо, он был христианин? почему Минотавр, тип яростного гнева, не карается вместе с гневными? Порой толкователь остается при своем недоумении: Данте говорит, что обитатели лимба не ощущают иных страданий, кроме вздохов, между тем в одном месте сказано (очевидно, метафорически) о пламени; или Виргилий говорит Данте, что вскоре удовлетворено будет его тайное желание; комментаторы пытались определить его, Боккаччо заявляет откровенно, что оно ему неясно. Сам он пытается пролить свет там, где все ясно, если не искать сокровенного смысла во всяком риторическом обороте, в поэтическом образе. А он всюду ищет аллегии и находит ее, тем легче, что по его теории, скрепленной примерами Св. Писания, разделявшейся и другими толкователями, каждый образ может иметь несколько значений: Цербер напр. означает в дантовском Аду и любостяжание и чревоугодие. И вот бесконечно-напрасные усилия Данаид не что иное, как аллегория женщин, которые хорошатся и рядятся, часто не достигая цели; подробно разбирается, применительно к пороку, наказание чревоугодников; у расточителей волоса острижены, ибо, по мнению ученых, в волосах нет влаги и ничего полезного здоровью тела, почему они и выражают иносказательно — мирские блага, не приносящие никакой пользы нашим душам. Гневные истязают себя сами, бьются головой, грудью

и т. д.; голова — это мысли, намерения, решения гневного человека, грудь означает жизненные силы питания и т. д. Наконец — хвост Миноса, которым он опоясывает себя столько раз, сколько кругов следует пройти грешнику, чтобы достигнуть назначенного ему места; и этот реалистический образ находит неожиданное толкование: хвост, крайняя часть тела, означает последнюю часть нашей жизни, нравственное содержание которой и определяет решение Божьего суда, ибо Минос — Божие правосудие.

Важнее частных аллегорических толкований и хитроумных сближений было проникнуть в общий план дантовского иносказания, проникнуться его духом. Автор старается подойти к тому двумя путями. С одной стороны он выясняет себе систему адских мук, представлявшую некоторые трудности. В XI-й песне Ада Данте дает несколько сбивчивые указания: до седьмого круга, говорит он, караются грехи *невоздержности*; далее злоба, *malizia*, достигающая своих целей *насилием* или *обманом*. Это распределение следует помирить с другим, аристотелевским: *невоздержность*, злоба или коварство — *malizia*, и неразумное зверство — *la matta bestialitade*. *Bestialità* отвечает насилию первой схемы, *malizia* ее обману; если внести в нее эти определения, то получится распорядок Боккаччо: *incontinenza*, *bestialità*, *malizia*⁹. С этой точки зрения насильники относятся ко второй категории, *bestiale*; и это было бы ясно, если бы при другом случае Боккаччо не припомнил первого дантовского деления, относящего насилие к проявлениям *malizia*. Но это внешний недочет, объясняемый излишним вниманием к слову дантовской системы. — Любопытно, как расширил Боккаччо понятие *bestialità*: у Данте положение ереси в лестнице грехов не определено, может быть, сознательно не выяснено; он мог колебаться в приурочении, но, поместив ересиархов непосредственно за невоздержными, невольно вызывает вопрос: не относил ли он ересь к категории невоздержности; мы подскажем: невоздержности мысли. Ею еретики погрешили, не желая оскорбить Бога, напротив, полагая, думая услужить ему. С этим согласен и Боккаччо; тем не менее его вывод не стоит на уровне дантовской гуманности: ересь отнесена у него к зверству или скотоподобию; разве не скотоподобны напр. еретики, утверждавшие, что после Целестина не было настоящего папы? Из них недавно сожгли более шестисот, и по делом, за их упрямство. Упрямство — вот формула, при помощи которой аллегорически объясняются устройство и аксессуары «града Дита», где казнятся дантовские еретики: и самый город, и образы Горгоны и Медузы — символы упрямства, умственного коснения; фурии — душевные

волнения, отвечающие этому состоянию духа. — Боккаччо не написал бы теперь своей сатиры на «инквизитора нечестивой ереси».

Другой путь, которым он подходит к выяснению внутреннего смысла Божественной Комедии, намечен его пониманием ада. Хождение по трем загробным царствам только оболочка, весь процесс понимается психологически, как совершающийся в человеческом микрокосме: это тревожная повесть человека, выходящего из ада пороков и заблуждений, путем познания и помощью благодати, к постепенному очищению и прозрению высшего блага. Пороки — это звери, заступившие путь Данте в начале его аллегорического хождения; Виргилий — это разум или благодать содействующая; *donna gentile* — молитва, Лучия — божественное милосердие, Беатриче, которая в начале труда отождествлялась с теологией, является теперь спасающею благодатью. Все образы пристраиваются к этому психологическому процессу, не без обильных натяжек; не только Ахерон понять, как аллегория бедственной человеческой жизни, но и челнок Харона означает наши вожделения, его весло — ваши тревожные заботы и т. д.

Весь анализ предполагает греховного человека вообще, но в особенности самого Данте. На этот путь личного объяснения вступил уже сэр Грациоло; Боккаччо приготовлен был к нему со времени дантовской биографии, когда вменил поэту порок сладострастия; комментарий давал к тому повод, когда Боккаччо защищает самосознание Данте, называющего себя шестым в сонме великих поэтов древности, или говорит о его благородном негодовании, или сообщает мнение, что под двумя праведными людьми во Флоренции Данте разумел себя и своего друга Кавальканти. Но обыкновенно сострадание, *pietà* Данте к грешникам вызывает оценку его личности, обнаруживая вместе с тем христианский ригоризм толкователя. Общая точка зрения та, что к грешникам грешно сострадать; если поэт обнаруживает жалость, то к самому себе, в сознании, что и он повинен в тех пороках, которые предстали ему в образе аллегорических зверей. И вот он сам заподозрен в сладострастии, в том, что порой чревоугодничал, склонен был к любостыжанию, гневу; грешен ли он был в содомии — об этом автор предоставляет судить другим, хотя Данте и сжалился над содомитами, как разжалобился, слушая речи Пьеро делле Винье — в предчувствии, что и сам он станет жертвой зависти.

Толкуя пророчество Брунетто Латини, Боккаччо говорит о неувядающей славе Данте; он сам глубоко проникнут этим убеждением, но образ поэта и человека выходит у него тусклее прежнего, нет

графической определенности того идеала, который он изобразил в своей биографии. Он расплывается в мелочах, и тому причиной не одна лишь разбросанность комментария, и притом комментария недосказанного. Если бы он был дописан, он достиг бы грандиозных размеров, но мы едва ли бы от того выиграли: это старческий труд, любовно словоохотливый, педантски обстоятельный; свод чтений и житейских взглядов, окрашенный болезненным ригоризмом — ибо страх смерти редко позволяет нам логически досказать до конца нашего интеллектуального развития и незаметно сводит его к покаянному настроению; а мы знаем, что у Боккаччо этот поворот намечен был с половины 50-х годов. Кроме того комментарий был, очевидно, и не выработан окончательно: остались двадцать четыре тетради и четырнадцать тетрадок — может быть, заметок и выдержек. Эти подробности раскрываются нам из ссудного дела, начавшегося между наследниками Боккаччо 20 февраля 1376-го и решенного 18 апреля следующего года.

Мы знаем, что он завещал свою библиотеку брату Мартину из Синьи; комментарии были в работе и могли не считаться в составе библиотеки; так понимали дело некоторые из исполнителей духовной, между прочим брат Боккаччо, Яков, тогда как брат Мартин показывал, что те тетради принадлежат ему, как ведающему книгохранилище. В виду этого разногласия Яков передал те тетради, с согласия брата Мартина, одному из исполнителей завещания, Франческо ди Лапо ди Бонамики, с тем, чтобы он и два другие исполнителя, Бардуччо ди Керикини и Аньоло Торини, порушили между ними спорный вопрос; но брат Мартин не пожелал подвергнуться их решению, ибо им не доверял; вследствие этого Яков обратился к суду с просьбой вернуть ему те тетради, стоимость которых он оценил в восемнадцать флоринов золотом, или и более. Спрошенный на суде, ответчик показал, что действительно те тетради переданы ему на хранение, но что отдать их он не может, пока не порешено будет, кому они принадлежат; в случае же решения просил, чтобы каждому из исполнителей завещания предоставлено было снять с них копию. Так как из пяти человек двое были стороне Якова, суд решил дело в его пользу.

Более, чем эта внешняя история боккаччевских чтений, нас интересует впечатление, произведенное ими на слушателей. В числе их находился, по его собственному показанию, Бенвенуто Рамбальди из Имолы (род. м. 1336–40-м гг., † 1390), из младших гуманистов первого поколения, хотя и с значительной средневековой подкладкой, автор двух компилятивных трудов по римской истории, ком-

ментатор *Виргилия* и трагедии *Сенеки*, *Фарсалий Лукана* и *Валерия Максима*, *Петрарковых эклог* и *Божественной Комедии*, которую в 1375-м году он публично толковал в Болонье.

Влияния Боккаччевских чтений на его комментарий свеже, хотя неравномерно: он повторяет, следом за Боккаччевской *Vita di Dante*, легенду о нахождении первых семи песен *Ада* — без позднейшей оговорки автора; ссылается на *De Montibus* и объясняет, согласно с ним, прозвище флорентийцев «слепыми» в связи с историей *Аннибала*, и тотчас же дает другое объяснение, то самое, которое мы находим и в комментариях Боккаччо, но без ссылки на него. Он, может быть, не все записал, или Боккаччо мог впоследствии кое-что изменить в тексте своих течений. Иногда Бенвенуто разногласит с своим учителем, не верит в *Виргилия мага* и чудесного строителя, но напр. в объяснении мифа о рождении *Аполлона* и *Дианы* на *Делосе* он дает иносказание *Генеалогий*; оттуда или из комментария идет, вероятно, и упоминание *Пронапида*. Он не только знает все латинские труды Боккаччо, но и цитует их и пользуется ими, из итальянских особенно жизнеописанием Данте и Декамероном: он пересказывает несколько новелл, ссылается на их типы; когда он говорит о «сладо́сти болонской крови» — это напоминает восклицание Боккаччо: *О чудесная сладость болонской крови!* У него самого очевидно пристрастие к забавным рассказам, не даром он называет Боккаччо ревностным собирателем всяких потешных историй. От него он слышал многое, не нашедшее места в боккаччевских чтениях: объяснение флорентинизмов, сведения о местных нравах, анекдоты о библиотеке *Monte Cassino*. Флорентинцы напр. зовут *lonza* = рысь — пардом; однажды, когда вели парда по улицам, мальчишки заголосили: *Посмотри-ка, какой пард!* Либо Боккаччо слышал от стариков, что когда мальчишка бросал камнем или грязью в статую *Марса*, ему грозили: *Ты плохо кончишь!* И в самом деле, вторит Бенвенуто, я знал таких двоих: один утонул, другого повесили. Когда Бенвенуто приходится истолковать, что такое *Marzuccho* в *Purg. VI, 18*, он предпочитает из двух объяснений — объяснение Боккаччо, ибо ему он больше верит, называет его (и *Петрарку*), говоря о чревоугодии флорентинцев, о *Джьотто*; ссылаясь на мнение лучших флорентинцев о мстительности их сограждан, вторит укорам Боккаччо, вживается в его отрицательное мирозерцание, когда громит флорентинскую роскошь, ведущую к сладострастию. Их женщины живут в царских покоях, страсть к нарядам, против которой бессильны все городские постановления, развилась в целое искусство — и Бенвенуто парафразирует обличения *De Casibus*,

упоминая сатиру *Geri d'Arezzo*, написанную в стиле Апулея, и обличая флорентинцев, что они едят и пьют, прежде чем отправиться в церковь или на свадьбу. Как Боккаччо он нападает на кротополие мужчин, на их пристрастие к иностранным модам, и также проникается итальянским самосознанием: заимствуют не только моды, но и французский язык, утверждая, что нет его краше; а ведь он ублюдок латинского; не умея произносить *cavaliero*, *signor*, они произносятся *chevalier*, *sir*; вместо того, чтобы сказать: говорить по народному, *vulgariter*, они выражаются: говорить по романски, *romanice*, и произведения на этом языке зовут *romancia*. Весь этот бред иностранным явился с тех пор, как флорентинцы разбрелись по свету, но это не мешает однако сознаться, что именно эти люди, заменив нелепые идиотизмы более приличными выражениями, говорят лучше и чище, чем те, которые засиделись дома.

Во всех этих общих местах чувствуется печать флорентинского руководителя — Боккаччо. Боккаччо — это не только слава Чертальдо, но и слава Флоренции, как всегда неблагодарной к своим великим сынам: Данте, Петрарке, к нему. Боккаччо, жертва неблагодарности, это Боккаччо, заброшенный в Чертальдо, больной, необеспеченный старик; таким узнал его Бенвеуто; он зовет его своим учителем, достопочтенным, мудрым, сладкоречивым, не Боккацием, а *bussa aurea*¹⁰, устами, источающими сладость; но мы отметим другие, более сердечные эпитеты, подсказанные не литератором, а человеком: милейший, прекраснейший, добрейший из людей, добрый.

Таково впечатление одного из слушателей Боккаччо. Когда он умер, Саккетти помянул добром его дантовские чтения: Как нам надеяться, что восстанет Данте, когда нет никого, кто был бы в состоянии истолковать его, а Джьованни читал нам о нем?

Между тем, его чтения не всех удовлетворили; явились зоилы или зоил; из какого лагеря — сказать трудно; может быть, из лагеря крайних дантофилов, которым казалось святотатством раскрывать глубокие тайны дантовской поэмы людям, того недостойным. Уже в XIV веке существовало не только увлечение, но и самое имя *дантиста*; были и богословы, всенародно заявлявшие, к великому смеху Бенвенуто, что Беатриче Божественной Комедии — просто женщина, спрашивавшие: к чему мне следовать учению этой книги, когда в ней так мало — теологии? Другие могли устранять толпу, как позднее Анжело Торини, по-видимому, приятель Боккаччо, упрекал Марсили, что тот принимает у себя людей непосвященных в науку, даже женщин, и беседует с ними о высоких предметах. Так или иначе, но на Боккаччо ополчились, его язвили стихами; уже

его старая болезнь, чесотка, заставила его прекратить чтения, когда он, больной, схватился за перо в свою защиту, скорее в извинение. Да он, пожалуй, виновен, друзья увлекли его к неразумному шагу, побудила к нему бедность, но он жестоко наказан; он страдает и почти просит пощады. «Если я позорно предал муз на поругание презренного люда и неразумно обличил перед чернью их сокровенные прелести — то упрекать меня за эти проступки излишне, ибо Аполлон так сурово наказал меня за то в моем теле, что нет члена, в котором бы не отзывалась боль. Я обратился в мех, но он наполнен не ветром, а тяжелым свинцом; я едва движусь; так всецело овладел мной недуг, что у меня нет надежды на выздоровление, хотя я знаю, что Господь может уврачевать меня». Следующий сонет еще раз пересказывает те же идеи: «Если Данте, где бы он ни пребывал, опечален тем, что его высокие замыслы открыты были недостойной толпе, как ты выражаешься о моих чтениях — я скорблю и никогда не перестану негодовать на себя, хотя кое-что меня и поддерживает — ибо не мне принадлежит неразумная затея, а другим: обманчивая надежда и действительная бедность и заблуждение друзей и их просьбы — вот что побудило меня к тому. Но не на пользу пойдет ученая (духовная) пища тем неблагодарным ремесленникам, враждебным ко всякому прекрасному, благому начинанию»

Когда нападки продолжались, Боккаччо снова пишет безымянному хулителю: «Утомили меня и притупили твои стихи, направленные в мое посрамление; хотя в моем жалком положении у меня едва хватает времени на то, чтобы утолить мой чес, тем не менее, побуждаемый твоими стихами, я порой отвечал на то, на что метит твое перо; не в Болонье оно было очинено, если ты припомнишь, как суровы твои речи! Довольно я твердил, что сожалею о своем неблагоприятном поступке, но дела не вернешь; потому перестань и пощади меня, ибо даю слово, что никто более не побудит меня к столь ложному шагу». — Если следующий сонет обращен к тому же критику, то Боккаччо выходил иногда из терпения, в нем вновь била жилка памфлетиста, и он грозил, как в былое время Нелли: «Ты меня язвишь, а я ведь не из стали, и если твои уколы заставят меня заговорить, я так проберу тебя по швам, точно ты потревожил осиное гнездо. Мера переполнилась; довольно с тебя, Бога ради! Не заставляй меня поведать в стихах о твоих мерзостях, ибо я окажусь другим, чем тебе кажется; а раз слово вылетало, его не вернешь, поздно будет говорить: А я думал... Если у тебя чешется рука, безрассудная любовь, фортуна дадут тебе богатый материал, пусть твое остроумие ими и тешится». — И затем у Боккаччо явля-

лись моменты самосознания, как в защите Декамерона, безымянный хулитель отождествлялся для него со всей ремесленной толпой, которая не в состоянии была понять его, не признала; он даже счастлив мыслью, что прервал свои чтения, оставил своих слушателей на полупути без нравственного руководства, ибо такой именно цели должны были служить его лекции; они его недостойны. «Я посадил неблагодарную толпу на корабль, без сухарей и кормчего, и покинул в море, ей неведомом, хотя она и считает себя сведущей и знающей. Я еще надеюсь, что слабое, непрочное судно станет вверх дном и что все потерпят крушение, даже умеющие плавать; а я буду смеяться, стоя на высоте, это будет мне утешением за понесенные обиду и обман; стану упрекать их за стяжательность, за обманные лавры, умножая тем их скорбь и тяготу».

В таком-то расположении духа, больной и раздраженный, Боккаччо уехал в Чертальдо. Частный неуспех, голоса из толпы поразили его, и начались обычные колебания самоанализа. Он полон сомнений: он в самом деле проституировал Данте; как мог он на то решиться? Ему припоминаются уговоры друзей. И затем он обрушивается на непонятливую грубую толпу, занятую стяжанием, далекую от идеальных стремлений, полную зависти; они завидовали его лаврам; не к ним ли стремились обманчивые надежды, о которых говорится в последнем сонете? Друзья, надежды, бедность — вот что на первых порах он приводит в свое извинение. Бедность «действительная», говорит он; мы знаем, на сколько в этом заявлении шаржа, поддержанного постоянными мечтами о независимой обеспеченности поэта, ученого. Об этой бедности говорит одно из последних его писем, если не последнее письмо к Петрарке, относящееся ко времени, когда он еще не выступал чтецом Божественной Комедии. О содержании послания мы можем заключить лишь из ответа Петрарки: это было письмо больного старика, ворчливо-любовное, назойливо-откровенное; я обездолен, стеснен, забыт, говорил он о себе; пусть так; ты обеспечен, славен — а все еще заботишься о славе, зарабатываешься не в меру, держишь посты; побереги себя — хоть для меня. Петрарка знал дружбу к нему Боккаччо, ревнивую, навязывавшуюся с советами, полную болезненных оберегов; он привык к его нытью, к общим, непорешенным вопросам о меценатстве и свободе; понимал и его настроение в глухом захолустье Чертальдо. Тем не менее письмо подействовало неприятно. Сначала он не хотел отвечать на него, а вздумал послать Боккаччо свой перевод последней новеллы Декамерона, Гризельды; но затем он взялся за перо и обстоятельно ответил; письмо подписано 28-м апреля 1373-го года;

и письмо и новелла, помеченная (в окончательном виде) 4-м июля, залежались у него, по обыкновению, и лишь два месяца спустя он отправил их с коротеньким посланием, вместо введения, где обозначен был и порядок, в котором письма следовало читать. Этого порядка придержимся и мы.

Я решился не отвечать на твое письмо, ибо хотя в нем было много полезных мыслей, подсказанных дружбой, наши точки зрения во многом расходились. Затем у меня явилась мысль написать тебе о другом сюжете (перевод Гризельды); в оригинале много было поправок, и я взялся было за переписку, когда мне, почти постоянно больному, явился на помощь приятель. Пока он писал, я подумал: Что то скажет обо мне мой друг Джьованни? Что диктую тому человеку ненужное, а на нужное не отвечаю! Тогда, более по увлечению, чем по зрелом размышлении, я снова взялся за перо и ответил на твое послание. Оба письма пролежали у меня более двух месяцев, потому что не находилось гонца. Прочти сначала собственноручное, потом то, что писано другой рукою. Дочтя его до конца, ты скажешь, усталый: Так вот каков мой друг, больной, занятый старик? Уж не писал ли кто-нибудь другой, здоровый, молодой, не знающий, что ему делать? А между тем это я сам, и я сам дивлюсь на себя.

Следует собственноручное письмо Петрарки. Он был глубоко поражен тем, что рассказывал ему о себе Боккаччо, хотя издавна привык к подобного рода вестям. Надо признаться, плохо ты наделен дарами Фортуны, которые философы не считают благами, хотя для жизни они — поддержка. Это печалит меня, и я вознегодовал бы на судьбу, если б все, чтоб ни случилось, не зависело от высшей воли. Господь дал тебе более, чем другим смертным, поставил тебя выше многих современников, а в виде восполнения, может быть, праведного, хотя грустного, сделал тебя Лактанцием или Плавтом нашего времени, послав тебе, вместе с умом и красноречием, и бедность. — Петрарка приглашает друга вдуматься в свое положение и решить, захотел ли бы он поменяться с людьми, обеспеченными мирскими благами. На его долю выпало нечто более драгоценное, он может сказать с Горацием: Вокруг тебя мычат сотни стад, сицилийские телки, ржут кобылицы, годные в упряжь; твоя одежда дважды окрашена в африканский пурпур; что до меня, то Парка, не знающая обмана, судила мне крохотное поле, дух греческой музыки и презрение к завидующей толпе. — Добродетельному человеку нет причины жаловаться на отсутствие временных благ, заключает Петрарка, переходя ко второй части письма Боккаччо, которая поднимала личный вопрос. Петрарке не раз приходилось отвечать

на него. Ты даешь мне понять, пишет он, что моя судьба сложилась для меня счастливо и богато; если так, то и твоя не так бедственна. Пойми это раз на всегда, это верно; замени эпитет: богатый другим: средственный, вместо счастливого поставь свободный от забот, и ты ближе подойдешь к истине. Как бы то ни было, я несколько раз говорил тебе, чего теперь не стоило бы повторять: будь у меня кусок хлеба, я разделил бы его с тобою поровну. — Тебя тревожат мои недуги, пишешь ты; меня это не удивляет: никто из нас не может быть здоровым, когда болеет другой. Ты говоришь, что причина тому старость, и напоминаешь мне мои лета; я их не скрываю, жалею только, что не употребил их на лучшее, и стараюсь в вечерний час исправить не сделанное в течении дня; исправить и в жизни и в писаниях. А ты убеждаешь меня отдохнуть, успокоиться, хочешь уверить, что я не только много пожил, но и много поработал — и могу остановиться на пути! Но у меня совсем другое намерение: я, напротив, хочу удвоить шаги. Меня удивляет такой совет, исходящий от человека, который сам ему не следует. Так верные советники не поступают. При этом ты действуешь очень тонко и искусно; если бы ты не любил меня, не был бы моим вторым я, я сказал бы, что ты шутишь; но тебя ослепляет твоя дружба. Ты говоришь, что моя слава распространилась от востока до запада, что еще смешнее — среди эфиопов и гиперборейцев; удивляюсь, как могли тебя в этом уверить; я так думаю, что и в Италии меня едва ли хорошо знают, и сомневаюсь, чтобы был на свете человек с меньшим о себе мнением, чем я. А ты хочешь обмануть меня, вселить самомнение; к чему это? Я был убежден, что никто лучше тебя меня не знает, и охотнее поверю всему, чем заподозрить твою дружбу.

Но, положим, я известен, и даже далеко известен; ведь это только лишнее побуждение трудиться. Я не отказываюсь от твоей похвалы, что в Италии, а, может быть, и вне ее, я возбудил многих к нашим занятиям, запущенным в течении столетий. Я старейший из работников в этой области, но я не понимаю твоего заключения, что мне следует остановиться, дать место юным талантам, дабы обо мне не сказали, будто я все желал написать сам. У нас одни и те же стремления, но как разны наши взгляды! Много остается еще сделать, писал Сенека Луцилию, много останется, и через тысячу лет никто из наших потомков не будет лишен возможности еще прибавить к тому, что сделано.

Не знаю, каким образом Боккаччо переходил далее к вопросу о меценатстве; он у него наболел издавна; Петрарка защищался, как всегда. Ты говоришь, что большую часть жизни я провел в услуже-

нии правителям. Дабы ты не заблуждался, вот истинное положение дела: видимо я жил с ними, на самом деле они жили со мною. Я присутствовал порой на их совещаниях, редко на их пиршествах; никогда я не мог бы принять условий, которые чем бы то ни было стеснили бы мою свободу и занятия. Когда все шли во дворец, я направлялся в лес, либо отдыхал у себя с моими книгами. Если бы я стал утверждать, что не потерял ни одного дня, я сказал бы неправду: много я их потерял (не дай Бог сказать, что потерял все), то по лени, то по болезни и душевным тревогам. — Петрарка высчитывает, сколько времени у него ушло собственно на служебные обязанности; счет верный, всего семь месяцев, но в него не входят годы пребывания при дворах, а лишь — деловые посольства. Так он обошел главный вопрос, тревоживший его друга; но он был свободен.

Письмо продолжает устранять другие аргументы Боккаччо: тот убеждал Петрарку умерить работу; если прежде бывали примеры такой выдержки, то это объясняется долголетием древних, у которых нынешние старики считались молодыми. Петрарка опровергает его воззрение: продолжительность человеческой жизни осталась та же, говорит он; еще недавно знаменитый анахорет, Ромуальд из Равенны, достиг 120-ти-летнего возраста, несмотря на посты и бдения, от которых ты меня всячески удерживаешь. Не думай, чтобы наши предки, кроме разве патриархов жили дольше нашего; они были только деятельнее, а недейтельная жизнь — бесполезно потерянное время.

Но у тебя есть в другие доводы, которыми ты обходишь затруднения. Дело будто бы не в летах, а в разности темперамента, климата, питания. Я согласен со всем, кроме — вывода: ты советуешь мне, говоря буквально, удовольствоваться тем, что в стихах я сравнялся с Виргилием, с Цицероном в прозе; ссылаешься на мое венчание в Капитолии. Относительно этого иные другого мнения, и я с ними: тот лавр был преждевременным, осенил не зрелое разумом чело; будь я старше, я не пожелал бы той чести: одни юноши любят блеск, не прозревая, к чему он ведет. Венец не сделал меня ни учение, ни красноречивее, он возбудил ко мне зависть, лишил спокойствия, дал с известностью и тревоги; я многое мог бы порассказать тебе о том, чему бы ты подивился.

Твой последний довод — это желание, чтобы я подольше пожил на радость моим друзьям, на утеху твоей старости; ты хочешь, чтобы я пережил тебя; того желал и наш друг Симонид (Нелли), желаешь и ты, брат мой, и некоторые друзья; я же хотел бы умереть раньше

вас, чтобы жить в вашей памяти, беседе, молитве. Мне противно было бы существовать в обществе, где нравы так упали, забыты отеческие предания, и итальянцы рядятся и коверкают язык, стараясь прослыть варварами.

Ты просишь меня извинить тебя, что ты обратился ко мне с советами. Я не извиняю, а благодарю; твоя дружба сделала тебя врачом для меня — не для себя самого. Тебя я не послушаюсь, а попрошу послушаться меня: если бы я последовал твоему совету, я бы вскоре погиб. Работа, занятия — пища для моей души; перестать работать значило бы отказаться от жизни. Свои силы я знаю; нет на земле большего наслаждения, более благородного, постоянного, приятного, верного, как занятия литературой.

Прости меня, брат мой; во всем я поверю тебе, только не в этом. Как бы ты не возвеличивал меня, я не могу не стремиться — стать чем-нибудь; если я чего-нибудь стою, то возвыситься; если бы я был великим человеком, чего нет, то сделаться еще более великим, величайшим. Мне сдается иногда, что бы вы там ни думали, что я еще начинающий; хотелось бы, чтобы смерть застала меня юным, а так как это немислимо, то по крайней мере среди занятий или слезных молитв. Будь здоров, думай обо мне, будь счастлив и мужайся.

Письмо Петрарки полно энергии, жизнерадостности, не смотря на видимое пренебрежение к жизни, идеальной любви к труду, не смотря на лета. Боккаччо удерживает его пыл, как отец страшит ребенка, любуясь его головоломными шалостями — и сам не верен себе дважды, ведь и сам он продолжает работать. При разности практических воззрений и сноровки, у обоих были одни и те же стремления; Петрарка это верно заметил: они были идеалисты, жили в царстве мысли, открывали ее и насаждали. Это сознание в них крепко; но из их кружка остались они вдвоем, они берегут друг друга, следят друг за другом с любовью и болью, один в Падуе, другой в Чертальдо. Кругом выросло новое поколение; их отрицательное отношение к нему, сквозящее в словах Петрарки, подсказано не одной старческой брезгливостью, а и высотой их идеальных требований. Но отзвуки нашлись: дальнейшее развитие итальянского сознания примыкает к именам Петрарки и Боккаччо.

Петрарка не устает работать; но как явилась у него идея переписать риторической латынью новеллу о Гризельде? Был ли это случайный выбор, как он дает то понять, или случай совпал с целями личного внушения? Боккаччо жаловался на свою горькую участь; Гризельда учила терпению.

Каким-то образом попалась мне в руки книга, написанная тобою на отечественном языке, вероятно, в юности, так начинается Петрарка. Не скажу, чтобы я прочел ее, это было бы неверно; труд обширный, написан в прозе, для народа; к тому же я был страшно занят, тревожили и военные события; я пробежал книгу, как странник, спешно, не останавливаясь, оглядывающий путь. Заметил я, что на твою книгу напали собаки, но что ты накричал на них и отбил палкой; твой талант я знаю, знаю по опыту и тех людей, назойливых и праздных, которые хаут все, чего сами не хотят или не в состоянии сделать.

Твою книгу я перелистывал с удовольствием; иные несколько вольные места объясняются возрастом, в котором ты ее писал, стилем, языком, легкостью сюжета и соответствующим настроением читателей, которых ты имел ввиду. — Как всегда бывает в подобных случаях, Петрарка внимательнее прочел начало и конец Декамерона, он хвалит описание чумы, но особенно прельстил его последний рассказ, ни в чем не похожий на предшествующее. Он так им заинтересовался, что, не смотря на массу забот, запомнил его, чтобы иметь возможность пересказать его, при случае, приятелям. Случай вскоре представился, и все были в восторге. Тогда, продолжает Петрарка, у меня явилась идея, что такой прелестный рассказ мог бы заинтересовать и людей, не знающих нашего языка; вот уже сколько лет, как он продолжает мне нравиться, да и ты счел его достойным своего стиля и поместил в заключение своего труда, где риторика повелевает помещать лучшее — И вот в один прекрасный день, когда по обычаю я предавался своим мыслям, не довольный ни ими, ни собою, я вдруг все бросил, и взявшись за перо, принялся пересказывать твою новеллу; полагаю, это доставит тебе удовольствие; ни для кого другого я того бы не сделал. Следуя указанию Горация я переводил не рабски, кое-где изменял и прибавлял и думаю, что ты не только позволишь это, но и одобришь. Тебе посвящены эти страницы, новелла возвращается, откуда пришла: ей знаком судья, и дом, и путь; кто прочтет ее, будет знать, что за нее отвечаешь ты, а не я. Если меня спросят, действительное ли это происшествие или сказка, я отвечу с Саллюстием: ответственность падает на автора, то есть на моего друга Джьованни. После этих объяснений я начинаю.

Переделка, которой Петрарка подверг новеллу Боккаччо, характерна для риторики гуманистов, с ее речами и описаниями, общими местами, не всегда идущими к делу, и благообразным декорумом в ущерб реализму. «Давно тому назад в роде маркизов Салуццо

был старшим в доме молодой человек, по имени Гвальтьери» — так начинается новелла Декамерона. Посмотрим, как начинается свой рассказ Петрарка. «На западе Италии из хребта Апеннин поднимается высокая гора Визо, вершина которой, прорывая облака, купается в прозрачном эфире. Славная сама по себе, эта гора еще более знаменита источником По, который, выйдя из ее склонов малым ручейком, направляется на восход солнца и, увеличенный множеством притоков, становится, после непродолжительного бега, не только значительной рекой, но царем рек, как сказал Virgilий. В своем быстром течении он рассекает на двое Лигурию, отделяет Эмилию, Фламинию, Венетию и, наконец, разбившись на множество огромных ветвей, впадает в Адриатику. Страна, о которой идет речь, представляет прелестную, открытую солнцу равнину, перерезанную и окруженную холмами и горами; вследствие положения у подножья горы ее в называли Пьемонтом. Там города и прекрасные крепости, в числе прочих, у подошвы Визо, в область Салуццо, усеянная селами и замками, подвластная родовитым маркизам. Первым из всех и самым могущественным был, говорят, некий Гвальтьери, глава рода в области».

Петрарка ничего не изменил в рассказе Боккаччо, позволив себе лишь мелкие перестановки, кое-где больше определенности в виду исторического колорита. О детях, которых Гвальтьери отдал на сторону, говорится, когда они вернулись, что дочке было двенадцать лет, мальчику шесть; так у Боккаччо; Петрарка вносит точную хронологию: между рождением дочери и сына прошло четыре года; два года от рождения мальчика до той поры, когда отец отнял его у матери; счет оказывается верным. Новыми явились речи: у Боккаччо подданные Гвальтьери просят его жениться, у Петрарки их выборный произносит витиеватое слово; говорят Гвальтьери и Гризельда. Когда у нее отняли первого ребенка, Боккаччо рисует ее смирение, во второй раз он ограничивается указанием, что повторилось то же; Петрарка сознательно повторяет и сцену, ибо так подсказывала ему его реторика. И у Боккаччо действующие лица несколько подняты над уровнем обычных человеческих ощущений, предполагают героические нервы; Петрарка изобилует. Гвальтьери суров, но степенно мудр: он избрал себе жену не в любострастном настроении юноши, но с мудростью старика. Гризельда прежде всего благопристойна: когда, посватавшись за нее, Гвальтьери велит ее одеть, как подобает ее будущему сану, ее волосы растрепаны под брачным венком; Гвальтьери спрашивает ее перед всеми: Гризельда, хочешь ли ты меня мужем себе? На что она ответила: Да,

Господин мой! Петрарка удалил и всклокоченные волосы и реализм народного обряда. Его вкус требовал классического спокойствия и классически-односторонних характеров: Гризельда таит в своей груди мужественное сердце, полное мудрости; в ней нет колебаний, нет «ножей в сердце», когда у Боккаччо, смиряя себя, она отвечает Гвальтьери, любовь к которому она не в силах подавить в себе. У Петрарки человеческое чувство любви ушло без остатка в статуарное чувство долга.

Пересказывая эту историю, говорит Петрарка, я имел ввиду не женщин, для которых пример Гризельды недостижим, а мужчин: пусть поучатся на нем и терпеливо, как Гризельда, переносят испытания, посылаемые им Господом; я назову их героями.

Моя дружба к тебе побудила меня, старика, к делу, на которое в юности я бы не решился. Быль это или сказка, я не знаю; говорят, что сказка, потому только, что ты ее написал. — Петрарка рассказывает о различном впечатлении, которое она произвела на двух общих знакомых: один, падуанец, человек замечательного ума и знания, несколько раз прерывал чтение, так его душили слезы; другой, из Вероны, не обнаружил никакого волнения: это сказка, Гризельда с ее безответным терпением и пониманием супружеского долга казалась ему невыносимой. Петрарка не желал обострить приятельскую беседу, иначе у него были бы под руками примеры древности: Курий и Кодр, Порция, Ипсикратея, Алцест.

В числе многих, которых влекла в Падую слава Петрарки и которых он занимал назидательной повестью о Гризельде, был и какой-то английский клерк. Так говорит Чосер в прологе к повести о Гризельде, пересказанной им по латинской парафразе Петрарки с стилистическими мотивами, заимствованными из других источников. «Я расскажу вам историю, так начинает клерк, историю, которую я слышал от одного достойного ученого мужа, прославившего себя словами и делами. Его уж нет, он заколочен в гробу, и я молю Господа успокоить его душу. Звали того клерка Франциском Петраркой; был он лавровенчаный поэт, которого сладкозвучная риторика осияла поэзией всю Италию». Позволено ли отождествить клерка с Чосером — вот вопрос. Чосер был в Италии с английским посольством в 1372-м и по декабрь следующего года, был в Генуе и Флоренции; Боккаччо читал тогда свои лекции о Божественной Комедии и еще не знал, что Петрарка готовится одарить его латинской Гризельдой; а Падуи английское посольство не коснулось. Всего вероятнее предположить, что фигура клерка навеяна письмом Петрарки, где он говорит, что

любил рассказывать знакомым именно новеллу о Гризельде. Это может отчасти объяснить, в пересказе Чосера, умолчание имени автора Декамерона; в других случаях такое умолчание кажется странным: Чосер, так много обязанный Боккаччо, не знает, что он автор Филострато и Тезейды, пользуется его *De Claris Mulieribus*, *De Casibus*, Генеалогиями и ни разу не цитует по имени. Пересказывая в своем *Троиле* в *Крессиде* поэму о Филострато, он называет своим источником какого-то Лоллия, который является в *House of Fame* одним из авторов, писавших о Троянских деяниях; в том же *Троиле* в *Крессиде* переводит, с именем Лоллия, 88-й сонет Петрарки, — которого дважды называет в *Кентерберийских* рассказах. Именно смешение Петрарки и Боккаччо в имени Лоллия показывает, что в данном случае Чосер следовал наивному приему средневековых поэтов, маскируя свои источники воображаемым, древним, иногда фантастическим именем. Легко предположить, что поэтические труды Боккаччо могли дойти до него анонимными, ведь ни Петрарка ни Боккаччо не ожидали себе от них особой славы, а в рукописях имя могло выпасть. Остаются латинские труды, к которым гуманисты привязывали свою репутацию, которых собственность они ревниво оберегали. В этом случае умолчание имени Боккаччо характерно: его мало знали, тогда как Петрарка заставил говорить о себе.

